

В

течение последних лет десяти я живу на два города: из маленькой Анны я то и дело еду в Воронеж, чтобы через месяц-другой пуститься той же дорогой, но уже в обратном направлении, — и дать потом этому циклу повториться. Междугороднее транспортное сообщение — лучшее, что могло случиться с российским человеком, который хотя и вынужден стать апологетом стоицизма и флегматичной обреченности, но обретает лишние два часа в жизни, чтобы не держать лицо и прислониться виском к стеклу, дрожащему и холодному, морозному, в котором — твое отражение, за которым — твоя потаенность.

Дорога, то освещенная горбатыми скелетами фонарей, то чернильно-опасная, обозначенная только сверкающими машинами, всегда одинакова — и всегда конечна: от цели к цели, от километра к километру, от щербины к выбоине, от двойной сплошной — до поворота. Ты не собьешься с пути, тебе спокойно, знакомо и предсказуемо, ты уверен, куда едешь и указатели каких сел увидишь. Я люблю проезжать мимо Васильевки: она какая-то по-ветхому красивая своей пряничной церковкой и открытыми воротами погоста через дорогу. Точнее, я люблю, но всегда боюсь — когда автобус останавливается, чтобы задохнуться от новых пассажиров, — встать и выйти, уйти по холмам и дойти до Тойды, чтобы не знать, какая земля

будет на моем пути, чтобы не гадать, что будет дальше, потому что это будет важно и до смешного неизвестно.

Если бы люди по-катеринински летали, как птицы, они бы увидели, как сильно лоскуты холмов и степей изрезаны асфальтными лезвиями дорог, которые — известность, определенность, хоженность и чувство локтя, без которых не добраться до любимых и нужных, знакомых и незнакомых — но зачастую не до самого себя и чего-то невыраженного, невысказанного, оставшегося в «безъязыкой бездне» (Павел Банников) за спинами часовых-фонарей, заботливо помещенных нести вечную вахту. Фонари стоят навтыжку, ножами режут темноту для нашего же удобства и спокойствия, пальцами проводов поддерживают друг друга. От кого они охраняют нас?

Поэзия в ее обычном понимании — та же дорога куда-то, а куда именно — выбирай сам. Никто не гарантирует, что до места назначения ты доберешься в принципе: на встрече за рулем много пьяных, самонадеянных и невнимательных, да и ты сам можешь уснуть, задуматься, выбрать кювет или махнуть рукой. У тебя может кончиться бензин. Могут отказать тормоза. По обочинам этой дороги тоже много крестов.

Избравшие дорогу страдают от гололеда, плохого асфальта, отсутствия сна, прерывистого мобильного интернета, крутых поворотов и торопливости, часто свойственной тому, для которого цель — единственное устремление. Они обгоняют друг друга, показывают кулаки и не только, сигналият нервно и не всегда по делу, не замечая при этом, что сигнал автомобиля — лишь *средства* передвижения — намного громче их собственного голоса. На въезде в город всегда пробки. Приходится менять полосы, вечно перестраиваться, ехать дворами.

В салоне каждого — свой мир и свое дыхание, трепетное и живое. Хорошо, если оно сильно в достаточной мере, чтобы преодолеть железную глухость капота и иллюзорную прозрачность слюдяного стекла. Хорошо, когда душа не укутана от осмотров ни красивым госномером, ни внешней привлекательностью автомобиля. Хорошо, когда в эту дорогу бросаются те, кто хочет в перспективе выйти из-за руля и распрямиться, а не кататься с музыкой по улицам, навязывая горожанам свое громкое существование. Громкость в поэзии нужна лишь тогда, когда за ней стоит тишина настолько страшная, что убьет автора, стоит ему замолчать.

За охраняемым фонарями упорядоченным хаосом дороги есть что-то, что пугает сильнее и ее беспощадной многомашинности, и опасности лобового столкновения. Это своего рода и *Ding an sich* — кантовская «вещь в себе», — и то невыразимое, которое, идя бок о бок с нами, вдруг оказывается овеществленным и бесплотным одновременно. Станный мир этого рядом-пространства полностью не исхожен и потому освоен пунктирно, точно, мерой глубины личностных убеждений и талантливостью предпринятых попыток. Дорога, когда-то вспоровшая темную неизведанность потому, что была жизненно необходима и поэтически (и даже методологически) единственна и нужна, спустя века обрела достаточную степень самодостаточности, чтобы не заглядывать в глаза этому по-язычески неиерархичному миру, который в унисон вселенской изменчивости «зияет в тех местах, где прежде был схлопнут» (Александр Малинин).

Принято различать науку и творчество, прежде всего, по вроде бы основной и безусловной доминанте: устремленности первой к рациональному постижению явлений и второго — к отражению иррациональности его восприятия. Мне кажется это не совсем верным — по крайней мере, применительно к литературоведению. Творчество — это всегда о новом, личном и остром настолько, насколько внутренняя крепость может тебе это позволить. Литературоведение — о том же, но с той лишь разницей, что в основе ее — сила не только сердца, но и ума. Литерату-

роведение в моем понимании — о сопряжении чувства и мысли, потому что восприятие чужого личностного опыта, выраженного в тексте, и его дальнейшее освоение и *присвоение* уже в тексте научном всегда сначала (в той или иной мере) эмпирично, а уже потом (все более и более) — логично. Литературоведение — не аннигиляция авторского слова, но его многократное воскрешение.

Мое апеллирование к методологии чувственной научности не случайно в том смысле, что изучение современного состояния литературы невозможно именно без интуитивного, неподвластного логичному объяснению исследовательского чутья, которому нужно поверить и за которым пойти. Особенно — изучение того пласта литературы, который сам по себе — принципиально неупорядоченное нагромождение смыслов, бытий и со-бытий. Отсутствие исторической дистанции лишает нас привилегии, которой будут обладать наши потомки, — смотреть на любое явление прошлого с холодной расчетливой избирательностью, видя с высоты своего пост-рождения причудливую иерархию имен и систематизирующие эпоху законы. Изучение современной литературы обладает лишь привилегией предчувствования и потому не должно отмежевываться от тех, кто находится внутри литпроцесса, — от авторов и читателей.

Идти с кем-то всегда тяжелее, чем одному, если каждый — не попутчик и не ведомый, а профессионал, обладающий и собственной шириной шага, и весомостью суждений. Тем не менее, исследователям современной поэзии это удается. В 2019 году Российский научный фонд поддержал проект № 19-18-00205 «Поэт и поэзия в постисторическую эпоху». Широкая исследовательская география проекта — от Екатеринбургa до Нью-Йорка (Нина Барковская, Марк Липовецкий, Кирилл Корчагин, Ирина Романова, Денис Ларионов, Олег Горелов, Евгений Смышляев) — аккумулирована на филологическом факультете Воронежского госуниверситета в руках ученых кафедры русской литературы XX–XXI веков, теории литературы и гуманитарных наук (Татьяна Тернова, Анна Фролова, Анна Грязнова, Полина Бобровская; руководитель проекта — Александр Житенев).

Важная идея исследования, которая при всей своей агностичности представляется мне принципиально-определенной, — в отсутствии в современной лирике «пределов» поэтики и слова при всей ее трансгрессивной (выходящей «за») сущности. На вопрос «Без чего нельзя представить поэзию?» поэты отвечают: «Без намерения сделать поэзию» (Лев Оборин); «Без свободы от паттернов предзаданности» (Юлия Подлубнова); «Без неясности, неочевидности, неконкретности» (Александр Малинин). Виталий Зимаков «беспределен» в еще большей степени: «Представить поэзию можно без чего и кого угодно». Мысль Сергея Попова созвучна этим утверждениям: «...в поэзии изначально не предполагается никаких пределов, потому как это предположение равно ее разрушению». В литературоведении, давно уже подвергнувшем сомнениям и фигуру автора (Мишель Фуко, Ролан Барт), и облик читателя, и саму идею «нового» в «созданном» тексте (Юлия Кристева), агностический подход кажется закономерным в достаточной степени, чтобы взять его за единственно возможную доминанту.

В рамках проекта слово представляется и исследователям, и поэтам — они работают рука об руку, создавая мир, где литературоведение «расспрашивает» поэзию о себе, говорит о ней с читателем и расшифровывает тексты, которые всегда изъясняются на языке собственных категорий. Исследование избирает для себя путь сопряженности с общей онтологической закономерностью той реальности, в которой мы все существуем: оно признает уже давно произошедшее упразднение категории истинности и определяет единственный честный путь собственного мироощущения — признание патологической неопределенности себя и своего слова. Категории «вакантности» (конференции проводятся под общим названием «Ва-

кансия поэта») , «неокончателъности», «контурности» («Контурная карта современной поэтолог») представляются, и мне единственно возможными в стремлении к литературоведческой и человеческой искренности.

Наверное, в чем-то удивителен, но и одновременно с этим симптоматичен тот факт, что именно литературоведение смотрит сегодня в то темное и вязкое, что находится за стойкими спинами придорожных фонарей. Пока то, что считается в поэзии традиционным, устоявшимся, даже привычным, стремится к самозамкнутости своей структуры и часто подчеркнуто противопоставляет себя новым поэтическим практикам, исследователи увлеченно, но по-научному безоценочно описывают мир поэзии, которой нужно помочь сказать о себе, войти в сознание людей, сторонних от литературы, стать для них симптомом времени и его болезней. Рассуждая о том, насколько современная поэзия актуальна в сравнении с традиционной, руководитель проекта Александр Житенев отмечает:

— Слово «актуальность» спекулятивно. Точнее, оно указывает на ситуацию того, кто выступает в роли реципиента. Оно сообщает что-то не о нашем предмете, поэзии, а о субъекте, который берется его оценивать. И поэтому вопрос стоит переформулировать — причем сразу несколькими способами. Если иметь в виду, что «актуальность» — это то, что «цепляет», имеет к нам отношение, то любая традиция всегда «цепляет» лучше. Мы всегда думаем и говорим чужими словами, соотнесение себя с традицией — это просто рефлекс. Если связывать «актуальность» с тем, что еще не имеет формы и названия, то, конечно, современная поэзия всегда обойдет классику. Зачем новые стихи, когда в культуре уже есть столько всего? И низачем, и затем, чтобы обозначить необозначенное, которое есть всегда. Зачем люди перечитывают книги? Затем же самым, зачем читают те, что никогда ранее не открывали. Нас интересует опыт — событие, которое обрело форму, смысл, стало частью какой-то сюжетной цепи. Здесь различие «современного» и «традиционного» не всегда важно. Не все непонятное в культуре стоит отвергать с порога — может, оно тоже «про нас» и даже «для нас».

Зияние пустоты, расположенной прямо около нас — стоит протянуть руку, — но тоже созидающей, плотной, важной для любого, умеющего ее признать, — это пространство от человека и до бесконечности, которую не нужно стремиться освоить и даже увидеть, но почувствовать и перестать вздрагивать. Зияние это подступило достаточно близко, чтобы начать с ним считаться и увидеть людей, которые удобству трассы М-4 предпочли отправиться в апокрифическое блуждание без устоявшихся тропов и троп. Они бросают на обочине автомобили и уходят — потому что там есть простор для мысли и крика, который не окажется заглушенным хотя бы для них самих. Там нет фонарей и надежды на них, но нет и мнимого ощущения услышанности, которое — иллюзия и ее будущие осколки, колющие, режущие, беспощадные.

Век литературы начала XXI века еще не получил своего названия — и не должен, видимо, получить, как и само время, взявше нас в свои тиски, невозможно охарактеризовать емко, кратко и четко. Будучи отражением эпохи, современная поэзия неопределена и непонятна в той же степени — наверное, очевиден лишь ее чумной, заразительный, мнимо доступный характер, который дает возможности всем и в руках нечутких становится только *средством* для путешествия и из Петербурга в Москву, и от своего подъезда до соседнего дома. Литература больше никого не сбрасывает с парохода современности, не называет попутчиком, она не мать и не мачеха, она ценит всех и не ценит никого, потому что невозможно любить или ненавидеть сильно, если одинаково и помноженно на бесконечное количество, — потому что ни у кого внутри не хватит на это энергии.

Литературоведение пытается зафиксировать опыт вдумчивого разговора с теми последователями поэтического, которые из-за огромности зияющих пространств не могут и не хотят (да и не должны) перекликаться системно и напористо. Исследователи идут за ними, находят или нет, очаровываются или разочаровываются, но пытаются заморозить себя и другого, зафиксировать мгновенное вне зависимости от того, станет ли оно услышанным или важным для эпохи. «След от дыхания тает на стекле, и вот его уже нет — вот ситуация, в которой существует сегодня поэтическое слово» (Александр Житенев). Это дыхание — свидетельство жизни и неуловимости ее трагедий, личных и тихих, но оттого не менее (а часто и более) верно определяющих саму суть изменений, происходящих с нами. Это дыхание мы чувствуем, когда подходим к берегу реки. Это дыхание разрисовывает узорами треснутое стекло автобуса, через которое — квадраты заснеженных полей, не вытопанных человеком.

